

Людмила ГЕТМАН  
(Нежин)

## Петербург и Рим глазами малоросса

История жизни и творчества Н.В. Гоголя хранит еще много загадок. Например, как случилось, что далекий Рим стал для писателя ближе, чем Петербург, к которому он так стремился в юности. Еще пребывая в Гимназии высших наук, в 1827 г. Гоголь писал своему лицейскому другу Г. Высоцкому, что чувствует себя в Нежине как “иноземец, забредший на чужбину, искать того, что только находится в одной родине” (X, 97). Мечтательный юноша, пламенея “неугасимую ревностью сделать жизнь свою нужною для блага государства ... принести хотя бы малейшую пользу”, в то время признавался своему двоюродному дяде П.П. Косяровскому: “Да, может быть, мне целый век достанется отжить в Петербурге, по крайней мере такую цель начертал я уже издавна” (X, 111).

Как известно, юношескую мечту блистать на поприще юстиции Гоголю осуществить не удалось, но Петербург все-таки прославил его как певца Украины и как создателя особого петербургского текста, в котором отразился “взгляд со стороны”, точка зрения “Иного”, непетербуржца ... наблюдателя *инонационального* [1]. Показательно в этом смысле, что художественное описание северной столицы впервые появляется у Гоголя именно в малороссийской повести, и восхищенное удивление, которое испытывает кузнец Вакула, сродни бурным восторгам Николая Гоголя и его лицейского товарища Александра Данилевского, когда они увидели вдали сияющий многочисленными огнями Петербург. Психологически значимо и то, что в повести “Ночь перед Рождеством” писатель остался верен своим первым впечатлениям, их пространственным и временным координатам: это темное время суток и взгляд издали (правда, Вакула, летящий на черте, видит все сверху: “... кузнец все летел; и вдруг заблестел перед ним Петербург весь в огне” (I, 232)).

Блеск, огонь, свет... стук, гром, крик... – вот ключевые семы, передающие впечатление потрясенного зрителя-провинциала, оглушенного и ослепленного блеском, шумом столицы, ошеломленного ее темпом жизни, “страшным многолюдством”, столь непривычным для созерцательных малороссиян (“Боже мой! стук, гром, блеск...”; “Боже мой, сколько тут панства!”; “Боже ты мой, какой свет! – думал про себя кузнец. – У нас днем не бывает так светло” (I, 232–233)). Обращает на себя внимание различный стилистико-эмоциональный рисунок внутренней речи Вакулы и его реплик в диалоге с запорожцем. Если внутренний монолог диканьского кузнеца окрашен такими сильными чувствами, как восторг – и даже страх, то собственно прямая речь Вакулы сдержанна, контролируется эмоционально и стилистически. Переход на другой код осуществляется героем сознательно, а причина переключения кроется в том, что “кузнец ... не хотел осрамиться и показаться новичком” (I, 234).

Гоголь мастерски создает иллюзию перехода на другой язык. Именно иллюзию, потому что и внутренняя, и собственно прямая речь Вакулы в тексте повести переданы одинаковыми лексическими единицами – словами русского языка. Украинизмами можно считать лишь *панство* (вместо *господа*) и *познали* (вместо русского *узнали*).

Языковыми средствами “грамотного” языка выступают частичная транскрипция, замена предложений, осложненных однородными членами, на простые неосложненные конструкции, введение книжной лексики и отказ от репрезентации удивления: “Губерния знатная! – отвечал он (Вакула – *авт.*) равнодушно. – Нечего сказать: дома балшущие, картины висят скрозь важные. Многие дома исписаны буквами из сусального золота до чрезвычайности. Нечего сказать, чудная пропорция!” (I, 234).

Своеобразен факт автоцитирования здесь письма к матери от 30 апреля 1829 г., где Гоголь делился своими впечатлениями о Петербурге: “Дома здесь большие, особливо в главных частях города ... во многих домах находится очень много вывесок ... Натурально, что ... дом должен быть весь облеплен золотыми вывесками”(X, 139–140). Та же словесная деталь повторится в отрывке “Рим”: римского князя потрясает Париж “сплоченными массами домов, облепленных тесной лоскутностью магазинов ... бесчисленной смешанной толпой золотых букв”(III, 222).

Еще одна черта, сближающая автора и его героев, – эксплицитно или имплицитно выраженное сопоставление “своего” и “чужого”, будь то Украина и Россия или Италия и Франция. Именно это постоянное сравнение и объясняет, почему, по тонкому наблюдению Ю.Я. Барабаша, когда Невский проспект видит не Вакула, а художник Пискарев, мы “улавливаем что-то если не диканьское, то миргородское или нежинское”, а в позиции рассказчика “находим составляющую если не выражено национальную, то региональную, “окрашенную” – во всяком случае, чужую” [2]. Восприятие диканьского кузнеца явно восходит к первым впечатлениям от Петербурга, которое получил Гоголь, когда, как и его будущий герой, приехал из малороссийской провинции в столицу и вначале свято верил в то, что только Петербург (даже не Москва) таит в себе самые разнообразные возможности: “...достать ли черевички, какие носит царица” или “сделать жизнь свою нужную для блага государства”. Да и не столь важна разница между этими желаниями, которые одинаково питает провинциальный миф о Петербурге [3].

И все-таки между автором и героем “Ночи перед Рождеством” есть весьма существенное, мы бы сказали, трагическое различие: Вакула в Петербурге – только гость, искатель тихого счастья, а потому его история, построенная по канонам доброй рождественской сказки, и должна была закончиться счастливо – возвращением в родную Диканьку и женитьбой на Оксане. О Петербурге будут напоминать лишь черевички, которые, как оказалось, вовсе не нужны были малороссийской красавице, да “намалёванное” Вакулой на стене диканьской церкви изображение черта, “такого гадкого, что все плевали, когда проходили мимо; а бабы, как только расплакивалось у них на руках дитя, подносили его к картине и говорили: “он бачь, яка кака намалевана!” – и дитя, удерживая слезёнки, косилось на картину и жалось к груди своей матери” (I, 243).

Глубокий смысл подобной концовки в том, что словом, заключающем текст, является лексема *мать* – символ всего родного, кровного. Счастлив Вакула, не отрывавшийся от груди своей родины-матери, а потому ему нет дела до того, что в Петербурге “все обман, все мечта, все не то, чем кажется! ... все дышит обманом” (III, 45). Иное дело – художник Пискарев: для него Невский проспект – это место, где он должен жить и творить, и вырваться из его власти он сможет, только отдав саму жизнь. Пис-

карев и лирический герой повести “Невский проспект” – еще одно зеркало, отразившее впечатление Гоголя о Петербурге, причем гоголевский “миф Города”, современного мегаполиса-монстра как воплощения и живого символа антигуманной цивилизации сложится позднее, когда писатель выйдет за пределы петербургского пространства и в его сознании сформируется оппозиция “патриархальный Рим – буржуазный Париж”, а одновременно романтическая параллель “Италия–Украина” [4]. Добавим также параллель “Петербург–Париж”. Трудно не заметить удивительно схожую стилистику описания этих двух европейских столиц. В “Невском проспекте” и отрывке “Рим” обнаруживается не только единство композиционной структуры урбанистических зарисовок, представляющих континуум с четкими временными координатами “утро–день–обед–послеобеденное гулянье и развлечение”, но и почти полное тождество панегириков обоим столицам: “Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге ... Я знаю, что ни один из бледных и чиновных ее жителей не променяет на все блага Невского проспекта” (III, 9) – “Нет лучшего места, как Париж; ни за что не променял бы он такой жизни” (III, 226).

Но для римского князя “Париж со всем своим блеском и шумом скоро сделался ... тягостной пустыней” (III, 229). И сам Гоголь, обращаясь к новому 1834 году, вопрошает: “Где означу я тебя великими трудами? Среди ли этой кучи набросанных один на другой домов, гремящих улиц, кипящей меркантильности, этой безобразной кучи мод, парадов, чиновников, диких северных ночей, блеску и низкой бесцветности?” (IX, 17). Тогда Гоголь мечтал вернуться на Украину и получить место профессора всеобщей истории в Киевском университете. Как известно, эта попытка закончилась неудачей. Но идея покинуть Петербург осуществилась в 1836 году, когда Гоголь уехал из России, объяснив цель своей поездки в письме М.П. Погодину от 10 мая 1836 г.: “Еду за границу, там размыкаю ту тоску, которую наносят мне ежедневно мои соотечественники” (XI, 41), – хотя уже в сентябре он напишет Погодину из Женевы: “Теперь передо мной чужбина, вокруг меня чужбина, но в сердце моем Русь – не гадкая Русь, но одна только прекрасная Русь: ты да несколько других близких, да небольшое число заключивших в себе прекрасную душу и верный вкус” (XI, 60).

Колесо истории повернулось, и, как когда-то из Нежина, Гоголь уезжает теперь из Петербурга, и вновь жаждет обрести Землю Обетованную, где он сможет осуществить свои грандиозные планы и тем послужить Отечеству. Конечной целью его путешествия должна была стать Италия. В письме А. Данилевскому из Рима мы находим потрясающее признание: “Что сказать тебе об Италии? Мне кажется, что будто бы я заехал к старинным малороссийским помещикам” (XI, 95). Италия и Малороссия соединились в сознании Гоголя, возник мираж возвращения в родные пенаты, где “такие же дряхлые двери у домов ... старинные подсвечники и лампы в виде церковных ... все на старинный манер. Везде доселе виделась мне картина изменений; здесь все осталось на одном месте и далее нейдет” (XI, 95). Гоголя в Риме не покидает ощущение вновь обретенной родины, и не столько потому, что он предпочитает старину Вечного города, его историческую память “великолепию светлых гостиниц, удобств”, “щеголеватой чистоте и блеску” Парижа – этого “размена и ярмарки Европы” (III, 221–222). Скорее всего, такое впечатление обусловлено тем, что в Риме он попал в привычные ему с детства “временные координаты” – иные, чем в Париже и Петербурге.

В буржуазном мире жизнь измеряется часами, в патриархальном – событиями [5]. Время – господин Невского проспекта и Парижа: там оно управляет людьми и их действиями. Как марионетка, человек должен подчиняться часовой стрелке: “в девять часов утра”, “в 12 часов”, “ближе к двум часам”, “в три часа”, “с четырех часов” и т.п. Время диктует свои законы, и их может нарушить разве только “какой-либо заезжий чужак, которому все часы равны” (III, 14). Подобными чудачками с иным способом переживания времени, вероятно, должны были бы ощущать себя и Гоголь, и его герои: кузнец Вакула, римский князь.

Италия и Украина в этом смысле были и остаются патриархальными. Рим, который российский христианский философ начала XX в. В. Эрн назвал “многослойным”, ведет отсчет времени не на часы, даже не на годы, а на эпохи: “...Рим архаический, Рим республиканский, Рим императорский, Рим средневековый, Рим ренессанса, Рим барокко и Рим современный” [6]. Рассматривая Петербург и Рим, Гоголь пользуется разной “оптикой”. Петербург, как и Париж, он видит в фокусе бинокля, т.е. издала, причем довольно скоро возникает желание этот бинокль перевернуть. Не случайно римский князь, разочаровавшись в Париже, начинает выбирать для прогулок “глухие, отдаленные концы его” (III, 229). В финале “Невского проспекта” рассказчик предостерегает: “Но Боже вас сохрани заглядывать дамам под шляпки! (перспектива близости – *авт.*). Как ни развевайся вдали плащ красавицы, я ни за что не пойду за нею любопытствовать. Далее, Ради бога, далее от фонаря...” (III, 6). Эстетически значим и конец этой сентенции (и всей повести): “... сам демон зажигает лампы, для того только, чтобы показать все не в настоящем виде” (III, 6).

Важно подчеркнуть, что князь, увидев после долгого отсутствия Рим, уподобляется иностранцу, который “сначала бывает поражен мелочной, неблестящей его наружностью” (III, 221; ср. замечание, сделанное по этому поводу В. Эрном: “На первых порах все не нравится в Риме” [7]). Рим требует зрения глубинного, специального инструмента, способного “прорыться вглубь для того, чтобы добраться до истинных сокровищ. И единственным оружием тут может быть время ... Дни идут за днями, и вы с удивлением и радостью чувствуете, что перспективы начинают меняться, что Рим современный постепенно разоблачается в своей призрачной сущности”, а “современным Римом” философ, посетивший его в 1911 г., видно, считает Рим после 1871 г., так как сожалеет, “вспоминая с грустью отошедший и уже загроможденный крикливой современностью Рим ... Гоголя” [8].

В “Письмах о христианском Риме” В. Эрн совсем не случайно упоминает своего знаменитого соотечественника. Интересна, на наш взгляд, мысль, которую автор именует “странной истиной”: “Вы, русский и православный, не можете чувствовать Рим так, как чувствует его француз-католик и немец-протестант, или, что еще хуже, француз не католик и немец не протестант. У вас свое отношение к Риму, совершенно особое, другое. И эта особенность, это отличие и зависят в самой малой мере от ваших личных свойств. Они обусловлены иной культурой и иной религией” [9]. Действительно, Рим Владимира Эрна очень близок Риму Николая Гоголя, близок, но не тождественен. Думается, что, найдя такие незначительные, на первый взгляд, различия, нам, быть может, удастся глубже понять, в чем же, собственно, состоит и чем предопределяется специфика малороссийского восприятия Рима.

Для В. Эрн истинную ценность имеет Рим катакомбный, Рим как древняя апостольская столица. В. Зелинский, анализируя “Письма...” Эрн, отмечает: “Из четырех писем ... только первое посвящено Риму наземному и земному” [10]. Для нас же значимо, что В. Эрн отвергает не только современный Рим, но и Рим барокко. Именно это, на наш взгляд, и определяет различное восприятие великоросса (с немецкими корнями) и малоросса. Для Эрн барокко – “испытание”, против которого надо “устоять”. А для Гоголя барокко – это родная стихия, одна из ярчайших особенностей украинского художественного мышления [11]. Если В. Эрн в римском барокко видит “триумф мелодраматических исканий христианства”, “скульптурно-архитектурные крики”, то для Гоголя барочные церкви и дворцы Рима – это, может быть, неожиданное для него напоминание о родной Украине, с ее удивительной Преображенской церковью в Великих Сорочинцах, с храмом Св. Николая в Нежине – выдающимися творениями украинского барокко.

Стоит, пожалуй, упомянуть и такую биографическую деталь, которую отметили искусствоведы: римская квартира Гоголя располагалась близ площади Испании. “Площадь Испании, одна из самых известных в Риме, окружена барочными зданиями XVII–XVIII вв. ... Район площади Испании – один из уютных и поэтичных уголков Рима. Здесь жил Н.В. Гоголь на Виа Феличе – на Счастливой улице – и был по-настоящему счастлив ... Гениальный первый том “Мертвых душ” написан в обстановке величественного и вдохновенного барочного Рима” [12].

Поиск живой души и Земли Обетованной стал главной движущей силой в творчестве писателя, своей жизнью Гоголь невольно подтвердил столь близкую его душе истину, что каждый человек на Земле – странник. И свой последний приют Николай Васильевич Гоголь обрел именно в Москве – этом Третьем Риме.

### Примечания

1. *Барабаш Ю.Я.* Подтексты “петербургского текста” // Н.В. Гоголь: Загадка третьего тысячелетия: Первые Гоголевские чтения. – М., 2002. – С. 21.
2. Там же. – С. 26.
3. Об этом см.: *Манн Ю.В.* Русская литература XIX в.: Эпоха романтизма. – М., 2001. – С. 406; и др.
4. *Барабаш Ю.Я.* Указ. Соч. – С.27.
5. О различии “европейского” и украинского “патриархального” временного потока пишет, в частности, *О. Забужко* (см.: *Забужко О.* Хроніки від Фортінбраса. Вибрана есеїстика 90–х. – К., 2001. – С. 222–225).
6. *Эрн В.* Письма о христианском Риме // Наше наследие. – 1991. – II (20). – С. 119.
7. Там же.
8. Там же.
9. Там же. – С. 120.
10. *Зелинский В.* Безмолвная тайна первохристианства // Наше наследие. – 1991. – II (20).
11. Об этом см.: *Макаров А.* Світло українського бароко. – К., 1994. – С. 211.
12. *Федорова Е.В.* Знаменитые города Италии. – М., 1985. – С. 194.